

„ПОЛТАВА“ В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА (Социо-литературный анализ)

I

До выхода в свет „Полтавы“ (1829 г.) художественное творчество Пушкина осуществлялось в тесном единении с современной ему читательской аудиторией. Всякое новое произведение поэта встречалось все более громким, все более восторженным хором похвал, среди которых почти пропадали одинокие голоса немногих хулителей — „литературных староверов“.

С появлением „Полтавы“ в отношении к Пушкину большей части его современников, в частности почти всей современной ему критики, наступает резкий перелом. „Полтава“ не только была встречена дружным осуждением. По летучему выражению одного из критиков — Н. И. Надеждина, „Полтава“ оказалась для самого поэта своего рода полтавской битвой с читателями, начисто им проигранной: „Полтава“ есть настоящая Полтава для Пушкина! Ему назначено было здесь испытать судьбу Карла XII“ „В „Полтаве“, — говорит тот же критик в другом месте, — Пушкин впервые „познает свой запад“. В самом деле — после „Полтавы“ начинается явный „запад“ славы Пушкина

на, явный упадок популярности поэта среди читателей и критиков-современников. Не пройдет и года, как Булгарин прокричит о „совершенном падении“ творческого гения Пушкина — „chûte complète“, — отзыв, который через некоторое время в своей оценке произведений Пушкина 30-х годов подтвердит молодой Белинский.

Останавливаясь на причинах неуспеха „Полтавы“, некоторые склонны были объяснять его выдающимися художественными достоинствами поэмы, оказавшейся „не по зубам“ читателям-современникам, все растущей зрелостью Пушкина-мастера. „Почти никто не узнал в ней (в „Полтаве“) Пушкина. Блестящий огненный стих, который так справедливо сравнивали с красавицей, уступил место сжатому и многовесному стиху, поражавшему своею определенностью. Трудно было осмотреться и проникнуться величию этих стихов...“ — писал Анненков. На то же указывал Полевой: „Новая поэма Пушкина не произвела на публику такого впечатления, какое производили прежние, и многим даже не имела счастья понравиться. Красоты ее слишком новы для русских читателей“.

До известной степени так же склонен был смотреть на свой неуспех и сам Пушкин. В статье о Боратынском (1831), отмечая непопулярность зрелых произведений поэта, он писал: „Первые юношеские произведения Боратынского были некогда приняты с восторгом; последние, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить тому причины. Первой должно почесть са-

мое сие совершенствование, самую зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродни всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные мысли и чувства, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются — песни его уже не те, а читатели все те же... поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя... и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных в свете“.

Отзыв Пушкина о Боратынском в этой его части окрашен глубоко личным чувством. Как уже сказано, сам Пушкин в это время в полной мере испытывал ту непопулярность, которая выпала и на долю Боратынского. В только что приведенных его словах о „совершенной уединенности“ поэта от читателей, о творчестве „для самого себя“ — формулировка и объяснение той теории „чистого искусства“, которой он является в этот период горячим приверженцем и проповедником.

Характерно, что в своем отзыве о Боратынском Пушкин в сущности только повторяет то, что несколько ранее Боратынский писал ему о нем самом.

Указывая по поводу только что вышедших новых глав „Евгения Онегина“ на непонимание романа большинством читателей, Боратынский добавлял: „Я думаю, что у нас в России поэт только в первых,

незрелых своих опытах может надеяться на большой успех: за него все молодые люди, находящиеся в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большей обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза“ (Письмо Пушкину от конца февраля — начала марта 1828 г.).

Однако, совпадая с Анненковым и Полевым в объяснении своей позднейшей непопулярности, и Боратынский и Пушкин смотрят на причины ее значительно глубже.

Дело не только в том, что поэт перерастает своих читателей эстетически, в своем художественном мастерстве. Гораздо существеннее, что он перестает быть „вещателем общих дум“, „отделяется“ от своей прежней публики, уходит от своего поколения и в своей психоидеологии — „в мыслях, понятиях и чувствах“.

Литературно-творческая эволюция Пушкина идет не только в полной параллельности с эволюцией его психоидеологии, в свою очередь целиком вырастающей на социальном бытии поэта, но и до конца определяется ею.

„Полтава“ как литературный факт, т. е. все элементы содержания и формы поэмы, представляет одно из самых первых и самых ярких выражений изменившейся ко второй половине двадцатых годов психоидеологии Пушкина.

Изучение с этой стороны „Полтавы“ имеет громадное значение для понимания всей его литературно-творческой эволюции.

II

Сам Пушкин с исключительной откровенностью обнажает литературные корни „Полтавы“.

Предпосланный „Полтаве“ эпиграф прямо ведет к байроновскому „Мазепе“ (кстати сказать, первоначально „Полтава“ также должна была называться „Мазепой“; под таким названием и появились первые сведения о ней в печати). В напечатанном вскоре после „Полтавы“ „Отрывке из рукописи“, в котором Пушкин полемизирует со своими критиками, он приводит два стиха из поэмы Рылеева „Войнаровский“, послужившие зерном романической части сюжета „Полтавы“ — обольщение Мазепой дочери казненного им Кочубея. Помимо того, в поэме Рылеева устами Войнаровского излагаются и все те события, которые легли в основу исторической части сюжета „Полтавы“ — отпадение Мазепы от Петра, Полтавская битва, поражение шведов и Мазепы.

Таким образом, в основном содержание „Полтавы“ не самостоятельно, подсказано Пушкину Байроном и Рылеевым.

И в то же время Пушкин особенно энергично подчеркивает полную, преимущественно перед всем им написанным, „оригинальность“ Полтавы:

„Habent sua fata libelli. Полтава не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его, но я был избалован

приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся“ („Отрывок из рукописи Пушкина“. „Девичница“ на 1831 г.).

„Оригинальность“ „Полтавы“, очевидно, заключалась не в самостоятельности ее образов и ее сюжета, а в том, что в трактовке чужих, заимствованных образов, чужого, заимствованного сюжета, Пушкин осознанно отталкивался от своих предшественников.

Отсюда приобретает совсем особенное значение и подчеркнутое указание на связь „Полтавы“ с поэмами Байрона и Рылеева. Для Пушкина это едва ли не сознательный прием.

Поэт называл литературные источники своей поэмы с тем, чтобы резче и нагляднее демонстрировать свое отталкивание от них, как позднее в „Медном всаднике“ ссылкой на стихи Мицкевича о петербургском наводнении демонстрировал свое отталкивание от последнего.

Отталкивание и от Байрона, и от Рылеева проявлялось прежде всего в „оригинальной“ трактовке Пушкиным главного действующего лица поэмы — Мазепы.

Байрон дал в своем Мазепе героический образ человека „бестрепетной души“, „бесстрашно взирающего в лицо смерти“, „не знающего меры в добре и зле“ — типичный образ байронического героя. Изображение Мазепы, привязанного к спине коня среди без-

людной степи, было сделано в таких тонах, что напоминало критикам прикованного к скале Прометея.

Разоблачая внеисторический — опoэтизированный и героизированный — образ байроновского Мазепы, Пушкин противопоставляет ему якобы-подлинного исторического Мазепу, который „действует в поэме... точь-в-точь, как в истории“.

Однако отталкивание от Байрона в „Полтаве“ не ограничивается только отталкиванием от данного, совпадающего по главному действующему лицу и отчасти сюжету произведения Байрона, но идет по линиям борьбы с байроновским влиянием вообще.

В молодости Пушкин, как известно, испытал очень сильное литературное воздействие творчества Байрона. Особенно отчетливо это воздействие сказалось на „Южных поэмах“ Пушкина, построенных в отношении сюжета, композиции, психологической характеристики героев по образцу „восточных поэм“ Байрона.

В „Полтаве“ Пушкин выходит за рамки заимствованной поэтики своих „Южных поэм“, создает особый, смешанный жанр, в котором „реминисценции байронического периода его творчества“ — „романический сюжет лирической поэмы“ — соединяются с „сюжетом героической эпопеи“, с „моральным пафосом“ и декламационными интонациями „торжественной оды“. (В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Ингр., 1924, стр. 175—193.)

Подробнее о новом, смешанном жанре „Полтавы“ мы скажем далее. Здесь отметим только, что наличие всех этих новых элементов и создает ту „оригиналь-

ность“ „Полтавы“, которую сам поэт ставит себе в особую заслугу, которая дает право специальному исследователю байроновского влияния на Пушкина, В. Жирмунскому, говорить об осуществленном Пушкиным в „Полтаве“ „преодолении байронизма“.

Литературное влияние Байрона на Пушкина и современное ему поколение, русский байронизм двадцатых годов прошлого века имели явственную социологическую подоплеку. Мрачная и мятежная поэзия Байрона, бросающая вызов всем основным устоям, всем сложившимся формам в области общественной жизни, традиционных верований, традиционной морали, как нельзя лучше соответствовала мятежным и вольнолюбивым настроениям поколения, развеянного николаевской картечью на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

„Душа — свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии... Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими“, — пишет в 1821 году кн. П. А. Вяземский А. И. Тургеневу. („Остафьевский архив кн. Вяземских“, II, Спб., 1899, стр. 170—171.) И такое восприятие типично для того времени. Для современников Пушкина творчество Байрона прямо олицетворяло вольнолюбивый дух начала двадцатых годов. Так Катенин, недовольный „хвалебными“ стихами Пушкина о царе („Стансы“ и

„Друзьям“), призывал его вернуться к „бейронскому пению“ — к революционным мотивам и настроениям своих прежних „вольных стихов“. (Ср. Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 160—168.)

Отказ от „бейронского пения“ вызывался новой идеологической линией Пушкина — линией подчинения „общепринятому порядку и необходимости“, линией примирения с правительством, с режимом.

Идеологическое отталкивание от Байрона осуществлялось Пушкиным в чисто литературном плане, в формах „имманентной“ литературной эволюции, — выхода на самостоятельную, „оригинальную“ литературно-творческую дорогу.

Отталкивание от односюжетной поэмы Рылеева, наоборот, носило неприкрыто идеологический характер.

III

Рылеев не оказывал на Пушкина никакого литературного влияния, точнее, влияние это если и было, то было микроскопически мало¹. Наоборот, „Войнаров-

¹ Влиянию Рылеева на Пушкина, в частности „Войнаровского“ на „Полтаву“, посвящена статья В. Сиповского „Пушкин и Рылеев“ в сбор. „Пушкин и его современники“, вып. III, стр. 68—88. Верная в весьма небольшом количестве деталей статья в целом поражает близорукостью сопоставлений и полной неосновательностью выводов. Так, в результате чисто механического сближения отдельных слов, автор утверждает, что образ пушкинского Мазепы „деликом сложился под впечатлением Мазепы рылеевского“. Абсурдность этого заключения будет ясна всякому, кто потрудится хотя бы только прочесть рядом „Войнаровского“ и „Полтаву“.

ский“ создан под непосредственным воздействием „Южных поэм“, вообще пушкинского поэтического мастерства. Литературно отталкиваться от своего собственного эпитога Пушкину не было решительно никакой надобности. Больше того: в литературном отношении „Войнаровский“ Пушкину, до того относившемуся к поэзии Рылеева иронически, как раз очень понравился. „С Рылеевым мирюсь. „Войнаровский“ полон жизни“. (Письмо брату от 6 января 1824 г.) „Рылеева „Войнаровский“ несравненно лучше всех его „Дум“: слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти нет“. (Письмо А. А. Бестужеву от 12 января 1824 г.) „Войнаровский“ мне очень нравится. Мне даже скучно, что его здесь нет у меня“. (Письмо брату от начала апреля 1825 г.) Как известно, в чисто-литературном отношении Пушкин в своей „Полтаве“ кое-чем даже воспользовался от Рылеева (сцена с палачом и некоторые другие).

Зато идеологическое отталкивание от поэмы Рылеева декларировано Пушкиным в предисловии к „Полтаве“ с энергией и четкостью, не оставляющими места ни для каких инотолкований.

Из образа Мазепы, пишет Пушкин, „некоторые писатели хотели сделать... героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. (Разрядка наша — Д. Б.) История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича — своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра пе-

ред его победою, предателем Карла после его поражения. Память его, преданная церковью анафеме, не может избежать и проклятия человечества“.

Ссылка на „некоторых писателей“ явно имеет в виду одного единственного писателя — Рылеева¹.

В „Войнаровском“ Рылеева Мазепа изображен именно „героем свободы“.

Мазепа — „вождь Украины“, горячий патриот, „прямой гражданин“, действующий единственно во имя „свободы родины своей“. Мятеж Мазепы, отпадение его от Петра трактуется как „борьба с в о б о д ы с самовластьем“. И этот мотив „свободы“ звучит лейтмотивом всей поэмы Рылеева. Возьмем хотя бы характерное уподобление мятежа Мазепы весеннему разливу „освобожденной из плена“, „разрушающей все преграды“ реки:

Так мы, свои разрушив деши,
На глас свободы к вождей,
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих степей...

¹ Кроме „романической повести“ Аладьяна „Кочубей“, о которой Пушкин говорит дальше особо (напечатана в „Невском альманахе“ на 1828 г.), в до-пушкинской литературе имелась еще повесть „Прекрасная россипка“ (1784 г.), рассказывающая о любовных похождениях Мазепы (но не с дочерью Кочубея), и несколько патриотических од и стихотворений на тему о Полтавской битве и Петре. Ни к одному из этих произведений, большинство которых, вероятно, Пушкину оставалось к тому же вовсе неизвестным, ссылка на „некоторых писателей“ ни в какой мере приложена быть не может.

В Рылеева явно метят и слова Пушкина о „новом Богдане Хмельницком“. Рылеев готовил поэму о Хмельницком, отрывок из которой появился в печати. Пушкину он в связи со своим новым замыслом писал: „Очень рад, что „Войнаровский“ понравился тебе. В этом же роде (разрядка наша — Д. Б.) я начал „Наливайку“ и составляю план для „Хмельницкого“. (Письмо от 12 февраля 1825 г.) Помимо того Богдану Хмельницкому посвящена одна из дум того же Рылеева. В ней дается характеристика Хмельницкого, основными своими чертами вполне совпадающая с характеристикой Мазепы в „Войнаровском“. Как и Мазепа, Хмельницкий борется с „тираном родной страны“, бой, который он ведет, — бой „бодрой свободы с тиранством“ и т. д.

Словом, и Хмельницкий и Мазепа одинаково изображены у Рылеева „героями свободы“.

И такая трактовка Мазепы, конечно, вполне соответствовала настроениям и эмоциям поэта — вождя декабристов. Уже посвящение поэмы своему товарищу и по литературной работе и по тайному обществу — А. Бестужеву, заканчивающееся выразительным призывом искать в „Войнаровском“, не „искусство“, но „живые чувства“ и еще более выразительными, все раз'ясняющими словами: „я не поэт, а гражданин“, давало ключ к тому, что хотел сказать Рылеев своей поэмой, какое восприятие ее подсказывал читателю.

Мало того: есть основания полагать, что образ Мазепы значил для Рылеева нечто большее, чем отвлеченные образы тех „героев свободы“ вообще, це-

лую галерею которых он дает в своих „Думах“, был напитан более конкретным, непосредственно классово-близким ему содержанием. Мазепа и мазепинцы являлись представителями украинской знати, стремившейся насадить на Украине польские шляхетские порядки, выдвинуть на командные высоты государственной жизни казацкую старшину — будущее украинское дворянство. Прототип Войнаровского — Войцеховский, совместно с Орликом, участвовал в выработке специфически-дворянской конституции, ограничивавшей самодержавную гетманскую власть. Всем этим объясняется весьма сочувственное отношение к Мазепе в кругах современной Рылееву либерально-дворянской украинской интеллигенции. Рылеев, по свидетельству его биографа, был в „близком общении“ с этими кругами, которые должны были познакомить его с истинным смыслом выступления Мазепы против Петра. (См. В. И. Маслов. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, стр. 300—305 и статью Л. Козловского. „Два образа Мазепы — Пушкин и Рылеев“ в газ. „Понедельник Слова народа“, 1918, № 5.) При всех исторических различиях дело, которому служил Рылеев, — дело декабристов, имело несомненные социальные аналогии с делом Мазепы и его приверженцев.

Тем красноречивее тот образ Мазепы, который противопоставляет в „Полтаве“ Рылееву Пушкин.

Брат А. Бестужева, декабрист Н. А. Бестужев. в своих воспоминаниях не без колкости отмечая, что из всего „Войнаровского“ Пушкин особенно выделывает

и оценил изображение палача, в то же время удивляется, как это поэт „не заметил“ в поэме Рылеева ряда „стихов истинно поэтических, истинно прекрасных“. Для самого Бестужева, как это видно из приводимых им примеров, такими „истинно прекрасными стихами“ характерно являлись именно все те места поэмы, в которых дается специфически-положительная оценка дела и личности Мазепы, подчеркивается его „прямая“ гражданственность, свободолюбие, высокий патриотизм. (Воспоминания бр. Бестужевых, ред. П. Е. Щеголева. Петр., 1917, стр. 27—28.)

Однако, как это ясно видно из предисловия к „Полтаве“, в действительности дело обстояло совсем не так. Пушкин, наоборот, слишком „заметил“ именно эти места. Больше того: именно с этими-то местами он своеобразно и полемизировал своим образом Мазепы.

Как я при отводе байроновского образа Мазепы, создание нового прямо противоположного рылеевскому образу своего героя Пушкин мотивирует желанием дать Мазепу „точь-в-точь таким“, каким его „представляет история“.

В доступных Пушкину исторических источниках — „История Малороссии“ Бантыша-Каменского, даже предпосланное „Войнаровскому“ и составленное по тому же Бантышу „жизнеописание Мазепы“ А. Корниловича — поэт, действительно, мог найти материал для отрицательной характеристики Мазепы.

Однако важно не столько наличие этого материала, сколько совершенно разное отношение к нему со стороны Рылеева и Пушкина.

Рылеев предпослал своей поэме „жизнеописание Мазепы“ — по его собственным словам Пушкину же — „для Бирукова“ (фамилия известного цензора, „Бирукова Грозного“, употреблявшаяся Пушкиным и его друзьями в качестве имени нарицательного, — олицетворения цензуры вообще), т. е. с явным намерением усыпить бдительность и без того „несколько ошпиавшей Войнарковского“ цензуры, ослабив даваемый поэмой героический образ Мазепы — борца-революционера — „героя свободы“. С той же целью в особом примечании подчеркивалось несоответствие образов „жизнеописания“ и поэмы, причем это несоответствие — „противоположность характера Мазепы, выведенного поэтом и изображенного историком“, — наивно объяснялось тем, что характеристика Мазепы в поэме дается устами „прельщенного“ им Войнарковского. Цензурный характер прибавлений к поэме был совершенно ясен современникам. Катенин, например, прямо приписывал их вмешательству цензуры: „Диво... что цензура пропустила“, — писал он в связи с выходом „Войнарковского“, и добавлял: „Зато какими замечаниями изукрасила“. (Письмо к Н. И. Бахтину от 26 апреля 1825, „Русская старина“, 1911, CXLVI, стр. 594.)

В то же время и в самом „жизнеописании“, составленном по специальной просьбе Рылеева его приятелем, человеком общих с ним политических убеждений, декабристом А. О. Корниловичем, жизнеописании, которое дает намеренно отрицательный образ „исторического“ Мазепы, содержится известная лазейка,

оставляется до некоторой степени открытым вопрос, не действовал ли Мазепа в своей „измене“ Петру из высших побуждений, во имя „любви к отечеству, внушившей ему неуместное опасение, что Малороссия, оставшись под владычеством русского царя, лишится прав своих“.

Для Пушкина в этом вопросе все до конца решено, для него нет и тени сомнения в полном отступстве у Мазепы каких-либо высших побуждений.

Пушкинский Мазепа „не ведает святыни... не любит ничего... презирает свободу, нет отчизны для него“ — характеристика, которая в отрицательном отношении к Мазепе, как видим, идет гораздо дальше „жизнеописания“ Корниловича и прямо противоположна рылеевской (Мазепа Рылеева „чтит великого Петра“, если и идет на борьбу с ним, то только — „для славы, для пользы родины“, во имя ее „свободы“, живым олицетворением которой он является — „мы с Мазепой погребали свободу родины своей“; „страну родимую“ — отчизну он любит не только превыше собственной жизни и жизни всех своих близких, как Войнаровский, но и превыше своего последнего достояния — „чести“; последними словами его перед смертью было обращение к „родине“).

Материал, который Пушкин нашел „в истории“, явно и в полной мере соответствовал той бессознательной тенденции, с которой он с самого начала подходил к образу Мазепы. Это доказывается хотя бы тем, что Пушкин не только ни в какой сте-

пени не попытался смягчить, сделать более человеческим образ исторического Мазепы (хотя бы так как очеловечил он другого исторического „злодея“, Бориса Годунова), но, наоборот, еще более сгустил темные краски. Мазепа Пушкина — безусловно отрицательная, сплошь записанная черным фигура — „честолюбец, закоренелый в коварствах и злодеяниях“, „коварный“, „злой“, „бесчестный“, „предатель“, „преступный“, „злодей“.

Тенденциозность, мелодраматическая односторонность пушкинского образа бросались в глаза уже современным поэту критикам, отмечавшим, что Пушкин вместо настоящего, „исторического“ Мазепы изобразил „злого дурака“ (разбор Полтавы в „Сыне отечества“), „лицемерного, бездушного старичишку“ (разбор „Полтавы“ Надеждиным в „Вестнике Европы“).

То же целиком подтверждается и позднейшими историками. Героизированные образы Мазепы и Войнаровского при всем романтическом ореоле, которым окружил их Рылеев, все же ближе подлинной исторической действительности, чем „кровожадный злодей“ Пушкина. Противопоставляя героизированному образу Рылеева своего подлинного, „исторического“ Мазепу, Пушкин на самом деле невольно исказил историю, по справедливым словам одного из исследователей, наделив Мазепу „такими чертами, к которым не прибегал и Ливий при изображении ненавистного ему Ганнибала“. (М а с л о в. Указ. сочин.) „Репутация Мазепы как интригана и злодея возникла только

благодаря той неверной и несправедливой характеристике, какую сделал Пушкин. История дает совершенно другой образ Мазепы“, — пишет украинский историк литературы С. А. Ефремов. (Пушкин і українство, в сборн. „За рик 1912 „. Киев, 1913. Цитируем по упомянутой статье Л. Козловского).

Сопричислить Мазепу к лику „героев свободы“, представить его борьбу с Петром, как борьбу „свободы с самовластьем“, повторяем, было вполне естественно для поэта-декабриста.

Наоборот, прямо противоположная, заостренно-полюемическая по отношению к рылеевскому образу трактовка Мазепы Пушкиным, в такой же мере, как и отказ от „байронского пения“, звучавшего так громко в его произведениях первой половины двадцатых годов, — „преодоление байронизма“, — не только соответствует новой идеологии Пушкина после 14 декабря, но и является ее красноречивейшим литературным изобличением. Полемика с Рылеевым дает себя знать помимо обрисовки Мазепы и в ряде мелких подробностей. Так, напр., Мазепа Рылеева говорит о людях, равнодушных к родине и ее судьбам, как о „врагах священной старины“. Пушкин, словно бы перефразируя стих Рылеева, называет сторонников Мазепы „друзьями кровавой старины“ (в другом месте схоже: „знамя вольности кровавой“). Разница эпитетов здесь весьма знаменательна. Гражданственности „прямых граждан“ Мазепы и Войнаровского Пушкин противопоставляет „гражданство северной державы“ — самодержавие Петра и т. п.

К 1822 году относится один незавершенный замысел Пушкина — наброски сперва трагедии, затем поэмы на популярный в то время сюжет о восстании Вадима Новгородского против князя Рюрика.

На ту же тему написана одна из „Дум“ Рылеева. Неизвестно, знал ли ее Пушкин (в печати она появилась впервые только в 1871 г.). Да это, впрочем, и не так существенно. Гораздо важнее то, что в трактовке Вадима и Пушкин (в особенности в отрывке из трагедии) и Рылеев совершенно совпадают. Оба поэта рисуют своего героя в качестве борца за „славянскую свободу“, „старинную вольность“ (Пушкин), древние „права граждан“ (Рылеев) против „самовластия“ (Пушкин, программа к „Вадиму“), „самовластительного князя“ (Рылеев).

Больше того: для обоих поэтов повествование о Вадиме является в сущности только удобной аллегорической формой для передачи „вольнлюбивых“ настроений и чувствований современного им поколения, выразившихся в деятельности тайных обществ, в последующем восстании 14 декабря 1825 года. Пушкин прямо проговаривается в потаенной аллегорической цели своей трагедии характерным анахронизмом. Один из стихов ее, вложенный поэтом в уста приверженца Вадима — Рогдая, читается: „вражду к правительству я зрел на каждой встрече“. (Разрядка наша — Д. Б.) „Славянские племена и иноплеменники, — пишет по этому поводу П. Анненков, —

составляли только весьма прозрачную аллегорию, в которой легко было разобрать настоящих деятелей и настоящих врагов, подразумеваемых трагедией. Пушкин так ясно хотел выразить свою истинную цель, что стих, вложенный им в уста Рогдая, одного из заговорщиков, описывающих всеобщий ропот новгородцев, был написан так, как будто дело шло о событии очень близком и современном“. („Пушкин в Александровскую эпоху“, СПб, 1874.)

Декабрист Рылеев до конца остался верен тому творческому пути, на который он вступил думой о Вадиме. Почти все его думы и поэмы изображают „героев свободы“, пронизаны намеками на современность, подчеркнута исполнены высокого гражданского пафоса. Наоборот, „Вадим“ Пушкина явился едва ли не последней вспышкой юношеского „вольномыслия“ поэта, которое, примерно с этого времени, начинает явно итти на убыль (характерно, что замысел „Вадима“, как сказано, остался незавершенным).

Изменившаяся идеология Пушкина сказалась, в частности, и в оценке им творчества Рылеева. К „Думам“ Рылеева Пушкин начинает относиться с неодобрением и нескрываемой иронией. (Письма Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822; начала января 1823; 30 января 1823; письмо П. А. Вяземскому от конца декабря — начала января 1823 и др.) Причем в особый укор Рылееву Пушкин ставит именно обнаженную гражданскую направленность его „Дум“ — „кто пишет стихи, тот прежде всего должен быть поэтом; если же хочет просто гражданствовать, то пиши прозой“,

говаривал он князю Вяземскому („Русский архив“, 1866, стр. 475),— противопоставляя их монотонной политической целеустремленности принципиальную „бесцельность“ истинного поэтического творчества. „Ты спрашиваешь, какая цель у „Цыганов“,— пишет он Жуковскому,—„вот на! Цель поэзии — поэзия... Думы Рылеева и делают, а все не в попад“. (Конец мая — начало июня 1825 г.)

Чем дальше, тем отзывы Пушкина о „Думах“ становятся все суровее. „Все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (Locī torici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение“,— пишет он самому Рылееву. (Письмо от конца мая 1825 г.) Но резче всего высказывается он о „Думах“ в письме к Вяземскому: „Думы дрянь и название сие происходит от немецкого Dum“. (Письмо от 25 мая 1825 г.)

Большинство исследователей отмечают неровность в оценке Пушкиным „Дум“ Рылеева, наличие наряду с ироническими положительными и даже прямо хвалебных отзывов. Проще всего поступает здесь автор уже упоминавшейся нами статьи о Пушкине и Рылееве, В. В. Сиповский. Указывая на первые „заметно-иронические“ отзывы Пушкина о „Думах“ и прямо замалчивая последние по времени и совершенно убийственные, как мы видели, отзывы о них же в письмах Вяземскому и самому Рылееву, Сиповский приходит к заключению, что, „начав с иронического отношения к деятельности Рылеева, поэт очень скоро увлекся ею“. Из приведенного нами ряда отзывов, рас-

положенных в хронологическом порядке, мы могли убедиться, что это далеко не так. Пушкин, действительно, отнесся с сочувствием к „Войнаровскому“, что же касается отрицательного отношения его к „Думам“, то оно не только оставалось неизменным, но с годами все нарастало.

Исследователи более внимательные и об'ективные, чем Сиповский, но все же отмечающие наличие положительных отзывов Пушкина о „Думах“, на наш взгляд, или недостаточно проанализировали соответствующий материал, или стали жертвой явной ошибки. Так, А. Н. Пыпин, приводя отрицательный отзыв о „Думах“ в письме Пушкина к Рылееву и ошибочно относя его к 1823 году (вместо 1825), сейчас же добавляет: „По в черновом письме к князю Вяземскому около того же времени, он пишет о „Думах“ Рылеева: „Последние прочел я недавно и еще не опомнился: так он вдруг вырос“. Отзыв этот приводится в качестве неоспоримого примера колебаний Пушкина в оценке „Дум“ и многими другими исследователями. Однако, если мы вернем цитируемую фразу в контекст всего письма, то убедимся, что здесь имеет место прямое недоразумение. В письме Пушкин дает ряд характеристик французских поэтов-романтиков — Андре Шенье, Ламартина Мильвуа, Ла Виня и др. О Ламартине читаем: „Первые Думы Ламартина в своем роде едва ли не лучше Дум Рылеева; последние прочел я недавно и еще не опомнился: так он вдруг вырос“. (Письмо от 4 ноября 1823 г. Разрядка наша — Д. Б.)

Ясно, что фраза, принятая за отзыв о „Думах“ Рылеева, идущий вразрез всем высказываниям на этот счет поэта, на самом деле относится не к Рылееву, а к Ламартину.

Другой сочувственный отзыв Пушкина о „Думах“ заимствуется из „Воспоминаний“ Пушкина, который рассказывает, как при посещении им опального поэта в Михайловском, последний „просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить его за патриотические Думы“. (И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. М.—Лнгр., 1927, стр. 87.) При наличии и более ранних и более поздних отрицательных оценок Пушкиным „Дум“, слова, переданные им Рылееву через Пущина, можно было бы принять за выражение простой любезности в ответ на привезенное Пущиным в Михайловское восторженное письмо Рылеева о „Цыганах“. Однако самую точность рассказа Пущина приходится взять под сомнение. Меньше чем через два месяца после посещения Пущиным Михайловского, Рылеев, в связи с вышедшим отдельным изданием „Дум“, писал Пушкину: „Знаю, что ты не жалуешь мои Думы; несмотря на то я просил Пущина и их переслать тебе“. (Разрядка наша — Д. Б.) Фраза эта совершенно не вяжется с пушкинской похвалой, которую якобы должен был привезти Пущин Рылееву. Скорее всего, что Пущин, писавший свои записки через сорок лет после описываемых в них событий, просто запаматовал, возможно, перенеся на „Думы“ сочувственный отзыв Пушкина о „Войнаровском“ (в ответном письме Пушкина Ры-

леву, переданном через того же Пушкина, имеется сочувственное упоминание о „Войнаровском“ и ни слова не говорится о „Думах“), а главное, приписав Пушкину свое собственное восторженное отношение — характерное отношение декабриста — к „патриотическим думам“ Рылеева.

Б. Л. Модзалевский, желая примирить строгие отзывы Пушкина о „Думах“ с рассказом Пушкина, пишет: „Впрочем, Пушкин, не признавая за „Думами“ Рылеева поэтических достоинств, ценил их за их „гражданское направление“. (Пушкин. Письма, т. I. стр. 438). Однако, со слов Вяземского, мы знаем, что именно оголенная „гражданственность“ „Дум“ была для Пушкина особенно в них нестерпима. С этим вполне согласуется и то, что рассказывал вообще об отношениях Пушкина к Рылееву П. А. Плетнев: „Плетнев передавал... что Пушкин смеивался над неумеренностью суждений Рылеева, над его отзывами о европейской политике, которую будто изучал он по тогдашним газетам в книжной лавке Сленина“. („Девятнадцатый век“. Исторический сборник, издав. П. Баргеновым, кн. 1, 1872, стр. 376).

С этой „неумеренной“ гражданственностью „Дум“ явно связана и та ироническая этимология (думы от немецкого dumme — глупый), которую Пушкин употребляет в письме к брату еще от 30 января 1823 года и которую он снова повторяет в заканчивающем всю серию отзывов о рылеевских „Думах“ письме к Вяземскому. Что этот эпитет — глупые — относится не к литературным недостаткам, а именно к иде-

ологии „Дум“, показывает аналогичный отзыв Пушкина о литературно как раз понравившемся ему „Войнаровском“. Сравнивая „Войнаровского“ с „Чернецом“ Козлова он пишет: „Эта поэма („Чернец“), конечно, полна чувства и умнее Войнаровского, но в Рылееве есть более замашки или размашки в слогге...“ (Письмо к Вяземскому от 25 мая 1825 г. Разрядка Пушкина.)

Гражданская патетика и „Дум“ и „Войнаровского“ представлялась Пушкину одинаково неумной. Разница была только в том, что „Думы“ Пушкин считал слабыми и в литературном отношении, „Войнаровского“ же почитал литературно удавшимся образцом „повествовательной“ поэмы, „нужной для нашей словесности“. Это объясняет и различную реакцию Пушкина в отношении „Дум“ и „Войнаровского“. Мимо первых он проходит с полным пренебрежением, на второго находит нужным ответить своей собственной „эпической“ поэмой, литературно в значительной степени аналогичной поэме Рылеева, ко прямо противоположной ей идеологически.

В 1825 году Рылеев писал Пушкину в Михайловское: „Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы“. (Письмо от января 1825 г.)

Пушкин, в 1822 году начавший по собственному почину поэму о борьбе за древнюю „русскую свободу“, новгородском Вадиме, в 1825 году оставляет призыв Рылеева без всякого ответа.

Еще через три года, в 1828 году, он словно бы отвечает на этот призыв „Полтавой“, низводя в ней рылеевский и свой собственный эпохи „Вадима“ образ борца за свободу, „героя свободы“ до уровня „преступника“, „изменника“, „злодея“, оспаривая тем самым не только „неумную“ и „неисторическую“ гражданскую традицию Рылеева, но в сущности и традицию всего декабризма вообще.

Л. Козловский в упоминавшейся нами статье о „Двух образах Мазепы“, правильно подметив полемический по отношению к Рылееву характер „Полтавы“, объясняет его тем, что Пушкин не мог видеть в борьбе Мазепы с Петром „борьбу свободы с самовластьем“. „С идеалом национально-политическим подходил Пушкин к этой исторической драме. Романтику, певцу народной свободы, отвечал реалист-государственник, певец петровского государства“. Нам представляется, что замысел обоих поэтов носил гораздо менее отвлеченно-исторический характер, был тесно связан для них обоих с непосредственно переживаемой или только что пережитой современностью¹.

¹ Взгляд Л. Козловского нашел отклик в прениях, возникших по поводу настоящей статьи, прочитанной в заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности 4 декабря 1929 г. Так, проф. Н. К. Пиксанов возражал мне, что „свобода“, о которой идет речь в „Полтаве“, — не политическая, а национальная, что Пушкин является в своей поэме горячим приверженцем идеи „единой и неделимой“ России и только. То, что в „Полтаве“ изображена Пушкиным борьба Мазепы против Петра, а не борьба декабристов против Николая, это бесспорно. Одна-

Для Рылеева сюжет о борьбе Мазепы против Петра был своеобразной декларацией декабризма, развитием все той же вечной темы о надвигающейся борьбе самого Рылеева и его товарищей с самодержавием.

Сюжет „Полтавы“ в исторической его части, в ту эпоху, когда Пушкин взялся за обработку его, также никак не может похвастаться нейтральным в отношении современной поэту политической действительности.

но в то же время несомненно, что идея „единой и неделимой“ России не существовала в сознании Пушкина изолированно, что она связывалась им, — это понимает и Л. Козловский, — с определенным политическим режимом, с „петровским государством“, с империей „самодержавного великана“, Петра — Николая. Больше того: сама эта „национальная“ идея Пушкина мало имеет общего с национализмом наших дореволюционных „патриотов“ конца XIX и начала XX века. Вот почему борьба за „национальную свободу“ Украины дана Пушкиным в столь характерной для него и столь чуждой сознанию упомянутых „патриотов“ окраске — в формах борьбы „мятежного“ вассала против своего сюзерена (вспомним слова Пушкина о Мазепе и его приверженцах: „Торгуют царской головой, торгуют клятвами вассалов...“). Равным образом, из сопоставления с одновременно написанным Пушкиным „Опричником“ получает свою специфическую определенность смысл названия Мазепы „изменником русского дая“. В „Опричнике“ „лихими изменниками дая“ названы мятежные бояре, отстаивавшие перед самодержавием свои классовые феодальные права. Борьба бояр против Иоанна, борьба Мазепы против Петра, борьба декабристов против Николая — все это в сознании Пушкина были разные проявления одной и той же сущности — многовековой классовой борьбы дворянства, отстаивавшего свою феодальную классовую свободу против самодержавия.

Рассказ о „мятежном“ выступлении Мазепы против „самодержавия Петра“ Пушкин вел в 1828 году, меньше чем через три года после мятежного выступления декабристов против самодержавия Николая I, который, кстати сказать, столь охотно уподоблялся современниками, в их числе и Пушкиным, его знаменитому пращур.

„Полтаве“ предпослан эпиграф из Байрона, в котором говорится о „торжествующем царе“. Свой апофеоз „торжествующему“ Петру Пушкин создавал в эпоху Николая, торжествовавшего над восстанием декабристов.

И имеется ряд бесспорных указаний, что память о декабристах, мысль о них неотступно стояла перед творческим сознанием поэта в те дни, когда он с лихорадочной поспешностью складывал строки своей „Полтавы“.

П. Е. Щеголев, изучая рукописи „Полтавы“, убедительно раскрыл загадочное имя той, кому посвящена Пушкиным его поэма. „Полтава“ посвящена М. Н. Раевской-Волконской — предмету давней и долгой любви поэта, жене декабриста Волконского. (П. Е. Щеголев. Утаенная любовь А. С. Пушкина. В книге „Пушкин“, изд. 2-е, стр. 168—169 и 188—189).

Исходя из открытия Щеголева, Б. М. Соколов выдвинул заманчивую гипотезу, согласно которой в романтической части сюжета „Полтавы“ Пушкин изобразил историю отношений Волконского и его жены, семейную драму Раевских, заключавшуюся в том, что

Раевская-Волконская должна была предпочесть отда мужу, поехав за последним на каторгу, в „хладную пустыню Сибири“. (Б. М. Соколов. М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922 г.)

Подобранный Б. М. Соколовым материал если и не вынуждает признать его гипотезу целиком, то во всяком случае подтверждает наличие в Пушкине в период писания им „Полтавы“ несомненных реминисценций из круга событий, связанных с восстанием декабристов.

Еще красноречивее говорит об этом один факт, насколько мы знаем, до сих пор исследователями не отмечавшийся.

Как известно, Пушкин имел обыкновение испещрять поля своих рукописей беглыми рисунками, набросанными тем же пером, которым он тут же только что работал над своими произведениями.

Иногда эти рисунки связаны с находящимся подле них текстом, иногда как будто не имеют к нему никакого отношения, но¹ и в том и в другом случае они являются драгоценным материалом, раскрывающим подчас то, что занимало мысль и чувства поэта или бессознательно владело им в тот или иной момент его творчества.

На полях черновиков „Полтавы“ с удивительной настойчивостью повторяется один и тот же рисунок — рисунок виселицы с висящими на ней телами повешенных.

На листе 58 тетради 2371 (рукописное отделение Ленинской библиотеки), содержащей черновика „Полтавы“, Пушкиным нарисована перекладина с тремя повешенными на ней телами. На листе 62 изображен повешенный во фраке со связанными ногами и свернутой на бок головой. На следующем 63 листе — 2 рисунка повешенных.

Однако самое замечательное, что на том же 63 листе кроме того нарисована еще одна большая виселица с телами пятью повешенных. Тот же рисунок виселицы с пятью повешенными повторяется в уменьшенном виде внизу страницы.

Пять повешенных — это, конечно, пять казненных декабристов.

Рисунок виселицы с пятью телами вскрывает подоплеку той навязчивости, с которой мотив виселицы, повешения владел Пушкиным в период работы его над „Полтавой“¹.

¹ Насколько, вообще, мотив виселицы, повешения в сознании современников невольно ассоциировался с мыслью о декабристах, показывает следующий характерный рассказ, записанный кн. П. А. Вяземским: „Bressan хотел дать для своего бенефиса Marion de Logne, уже пропущенную с некоторыми обрезками театральной ценсурой и графом Орловым (Marion de Logne появилась во Франции в 1830 г., значит дело происходило не раньше начала тридцатых годов — Д. Б.). Волконский потребовал пьесу и показал ее государю. Она подана ему была 14 декабря. Он попал на место, где говорится о виселицах, бросил книжку на пол и запретил представление“ (старая записная книжка, Лнгр. 1929, стр. 79).

Память о погибших декабристах была своего рода трагическим аккомпанементом, сопровождавшим реляцию Пушкина о Полтавской победе, даваемый им в своей поэме апофеоз Петра. На пути к этому апофеозу Петра — апофеозу самодержавия, торжествующего над „друзьями кровавой старины“ над „преступным“ Мазепой и его мятежными приверженцами, вставал скорбный и зловещий образ виселицы с болтающимися на ней телами пяти „государственных преступников“.

Как примирял в себе Пушкин этот апофеоз торжествующей государственности с памятью о виселице, воздвигнутой на валу кронверка Санкт-Петербургской крепости 13 июля 1826 года?

В связи со всем этим, новую и совсем неожиданную выразительность приобретает одно в высшей степени странное произведение Пушкина — стихотворный отрывок, известный под названием „Опричник“ и написанный приблизительно в одно время с „Полтавой“¹.

¹ Большинство прежних изданий „Опричник“ отнесен к 1828 году. Л. И. Поливанов, а вслед за ним и Н. О. Лернер („Труды и дни Пушкина“ и примечания к венгерскому изданию), ссылаясь на положение отрывка в черновой тетради, относят его к 1827 году. Устанавливать хронологию произведений Пушкина по месту их нахождения в рукописях, как известно, дело весьма спорное и сомнительное. Содержание же „Опричника“, с нашей точки зрения, прямо говорит за правильность традиционного приурочения его к 1828 году.

Опричник, который на „лихом коне“ спешит, летит на любовное свидание, на „грозной площади“ вчерашней казни наткнулся на виселицу с качающимся на ней трупом одного из „ликих изменников царя“. Испуганный конь „под плетью бьется, храпит и фыркает и рвется назад“. Но опричник с силой заставляяет его „вихрем проскакать — в столбы“, по другому варианту „под трупом“ — в перед. (Разрядка наша.— Д. Б.)

VI

Отношение Пушкина к декабризму и декабристам отнюдь не было, как это склонны представлять себе многие исследователи, прямолинейно-определенным. На самом деле отношение это было весьма сложным, во многом противоречивым, складывалось из ряда моментов, почти противостоящих друг другу.

В тридцатые годы сам Пушкин осмыслял восстание 14 декабря 1825 года как движение старинного, родовитого, просвещенного, но в то же время обнищавшего, потерявшего большую часть своих поместий,

Наконец бросается в глаза сходство между „Опричником“ и „Полтавой“ в целом ряде подобно звучащих строк: „Усердной местию горя“ („Опричник“) — „Был глух, усердием горя“ („Полтава“); „Лихих изменников царя“ („Опричник“) — „Изменник русского царя“ („Полтава“); „Забыв волнение боязни... стоит полна вчерашней казни“ („Опричник“) — „Завтра казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни“ или в другом месте: „Они, казалось, к месту казни спешили полные боязни“ („Полтава“) и т. д.

деклассирующегося городского слоя дворянства, имевшее целью снова вывести этот слой к управлению государством, к власти, которую его представители утратили, но на которую, с их точки зрения, они имели все права.

„Шестисотлетний дворянин“ — Пушкин принадлежал как раз к этому слою древнего, но оскудевшего дворянства. Дело декабристов было в значительной степени „классовым делом“ Пушкина. И мы знаем, что юноша Пушкин был, действительно, очень близок „вольнлюбивой“ идеологии декабризма, что одно время он прямо мечтал вступить в тайное общество. В „вольных“ стихах молодого Пушкина декабристы находили самих себя — отзвук и выражение своих идей, чаяний, настроений.

Однако изначально принадлежа к тому социальному слою, который выслав своих представителей на Сенатскую площадь 14 декабря 1925 года, Пушкин, в своем личном экономическом и социальном бытии с годами начал явно выходить за его пределы.

Экономически поэт жил не доходами со своих поместий, не государственной, главным образом, военной службой, как подавляющее большинство декабристов. Пушкин был одним из первых в России писателей-дворян, для которых занятия литературой были не побочным делом, не развлечением, а основным источником существования — профессией.

Идеологически живя со своим классовым слоем, экономически Пушкин уже был не с ним. Новая экономика, чем дальше, тем сильнее давила и на его

идеологию, воздействовала на нее, исподволь ее видоизменяла.

Профессионалом-писателем, живущим на доходы со своего поэтического „ремесла“ (слово, настойчиво употреблявшееся самим Пушкиным), поэт твердо почувствовал себя в 1823—1824 годах. К этому времени относится и явное охлаждение Пушкина к своему юношескому „вольномыслию“¹.

Но, несмотря на это, позиция Пушкина в отношении декабристов продолжала оставаться двойственной. С декабризмом для Пушкина была не только связана память о его собственных молодых увлечениях, его юношеском жаре и пыле,— среди деятелей декабризма были его ближайшие „друзья и товарищи“, социальные „братья“ Пушкина, от которых „блудный сын“ — писатель-профессионал ушел, но к которым он не мог не испытывать непреодолимой, чисто кровной привязанности.

Социальная диалектика Пушкина — борьба старой идеологии и новой экономики — до конца проявилась и в той лихорадке нетерпения и нерешительности, которая охватила его при получении известий о том, что творится в Петербурге после смерти Александра I.

¹ Характерно, что в стихотворении „Арноп“ сам Пушкин также приписывает отличность своей судьбы от судеб декабристов своему особливому среди них положению — „певца“. Правда, это дано здесь в „высоком“, романтическом плане — „таинственность“ певческого призвания. Но самый факт связанности особого от декабристов пути Пушкина с его литературным поприщем подмечен вполне правильно.

Она толкнула его в сани, которые должны были везти его, по его собственному признанию, прямо на квартиру Рылеева накануне восстания, другими словами, почти прямо на Сенатскую площадь, и она же заставила его крикнуть кучеру „назад“ при малейшем даже не препятствии, а призраке препятствия (заяц, перебежавший дорогу), возникшем на его пути.

Катастрофа 14 декабря потребовала от поэта окончательного определения своей позиции в отношении декабристов. Пушкину оставалось или погибнуть с декабристами, в дело которых он перестал верить за несколько лет до того, или стать на дуть компромисса, „примирения“ с правительством. Третьего исхода не было.

Вначале поэт как будто еще храбрится. „Положим, что правительство... захочет прекратить мою опалу,— пишет он Жуковскому, примерно, через месяц после 14 декабря,— с ним я готов уговариваться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства“ (Письмо от второй половины января 1826 года).

Но еще через месяц боевой тон Пушкина явно падает: „Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно (слова „вполне“ и „искренно“ подчеркнуты самим Пушкиным — Д. Б.) помириться с правительством“, — пишет он Дельвигу и добавляет: „В этом желании, конечно, более благоразумия, нежели гордости с моей стороны“. (Письмо ок. 15. II. 1826 г.)

Самый факт компромисса для поэта, таким образом, несомненен. Однако тут же в нем возникает и бессознательное стремление оправдать этот компромисс не только в глазах других, но и в своем собственном сознании.

Оправдать же его можно было, лишь осудив в той или иной форме дело декабристов. Процесс пересмотра, переоценки своей юношеской идеологии начался в Пушкине, как уже указывалось, еще до 14 декабря. В полемике с Рылеевым по вопросу о положении писателя, вопросу, как будто частному, но на самом деле тесно связанному с его общим мировоззрением, Пушкин противопоставляет рылеевскому — чрезмерно „поэтическому“, романтически приподнятому, искажающему реальные соотношения подходу к действительности — большую „прозаичность“, „трезвость“, „благоразумие“ своих суждений: „Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав“, — пишет он Рылееву за полгода до восстания. (Письмо от второй половины июня — июля 1820 года.) Это более прозаическое, трезвое отношение к действительности заставляет его „смеиваться над неумеренностью суждений“ Рылеева, находить „неумным“ чрезмерный гражданский пафос „Дум“ и „Войнаровского“. К тому же порядку мыслей относится, кстати, совершенно аналогичное определение около того же времени Пушкиным Чацкого, который является признанным литературным воплощением декабриста: „Чацкий совсем неумный человек“. (Письмо к П. А. Вяземскому от 28 янв. 1825 г.;

см. еще письмо А. А. Бестужеву после 25 , янв. 1825 года.)

Катастрофа, постигнувшая выступление декабристов, как бы деликом подтвердила прогноз Пушкина. Категоричнее становятся и суждения его о декабрьском движении: о восстании декабристов отзывается он теперь как о прямом „безумии“. (Письмо Жуковскому от начала марта 1826, „Записка о народном воспитании“ и др.) „Безумие“ это состояло, по мысли Пушкина, в несоответствии, с одной стороны, замыслов и планов декабристов, с другой — средств, которыми они располагали для их выполнения, в зияющем неравенстве силы правительства и сил „заговорщиков“.

В 1826 году, в записке „О народном воспитании“, Пушкин писал: „... должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей“.

Это неравенство, несоответствие „ничтожных средств“ и „необъятной силы“, приведшее к катастрофе, несомненно заключало в себе для Пушкина некий глубокий драматизм. Однако, не будем себе закрывать на это глаз, оно же в сознании поэта неоднократно возникало и как нечто комическое.

Эта двойственность восприятия Пушкина сказалась и в его творчестве. С одной стороны, мы имеем в нем „Медного Всадника“, в центре которого стоит горестный и „печальный“ образ „бедного безумца“ Евгения,

подымающего свой бессильный кулак на медного исполина Сенатской площади. С другой — отрывки из десятой главы „Онегина“ с их приравнением деятельности Северного тайного общества, закончившейся декабрьским восстанием, „заговорам между лафитом и клико“, „безделью молодых умов“, „забавам взрослых шалунов“. К этим отрывкам непосредственно примыкает проникнутое, хотя и горькой, но явной иронией определение Пушкиным 14 декабря, данное им в показаниях по делу об „Андре Шенье“: „Нешастный бунт, уничтоженный тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков“. Наконец, сюда же относится пушкинская карикатура на Кюхельбекера в день 14 декабря с нелепо огромным нестреляющим пистолетом в руке.

Однако, наряду с интеллектуальным осуждением дела декабристов, эмоционально „участь нещастных“, постигшая их „ужасная“ кара глубоко затрагивала и волновала поэта. „Повешенные повешены, — пишет он кн. Вяземскому, вскоре после исполнения приговора над декабристами, — но каторга 120 друзей, братьев, товарищей, ужасна“. (Письмо от 14 августа 1826 года.) Замечательно, что буквально то же, окрашенное яркой эмоциональностью, неприкрытым лиризмом название декабристов „братьями, друзьями, товарищами“ Пушкин повторяет в официальной, адресованной непосредственно царю записке „О народном воспитании“: „Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей“. Эта эмоциональ-

ная близость Пушкина делу и судьбе декабристов проявляется в его явном сочувствии драме „бедного Евгения“. Она же породила такие его лирические произведения, как знаменитое „Послание в Сибирь“, как „19 октября 1827 г.“ и некоторые другие.

Наконец в Пушкине жило не только сочувствие декабристам, в нем присутствовало и сознание некоторого соучастия им. Так создался его „Арион“. Больше того,— поэт, памятуя свою близость к людям и к идеям декабризма в дни своей молодости, памятуя свою „случайно“, как ему казалось, неосуществившуюся попытку ехать в Петербург в декабре 1825 года, неоднократно обращался мыслью к тому, что и на него могла бы распространиться кара, постигшая декабристов. Известные слова „и я бы мог как шут...“, записанные поэтом рядом с рисунком, изображающим повешенных декабристов, не являются одинокой обмолвкой. К размышлениям этого же рода относится в какой-то мере и выпущенная Пушкиным строка о Ленском, который „мог... быть повешен, как Рылеев“, и неоднократные, хотя, правда, и в шуточной форме, но весьма характерные упоминания поэтом в своих стихах о виселице в применении уже к самому себе.

Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен;
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен, —

читаем, например, в стихотворении, вписанном Пушкиным в альбом Е. Н. Ушаковой в 1827 году. Но особенно любопытна в этом отношении ситуация моло-

дого Гринева из „Капитанской дочки“, может быть, непроизвольно, но, на наш взгляд, несомненно воспроизводящая ситуацию самого Пушкина среди декабристов: Гринев избегает казни повешением, постигающей всех его товарищей и неизбежно долженствовавшей постигнуть его самого, в силу чистой случайности — зайца, перебежавшего дорогу — „заячьего тулупчика“, подаренного им нечаянно встреченному на зимнем пути незнакомому бродячему казаку.

Сознание компромисса и стремление как-то оправдать этот компромисс, интеллектуальное отталкивание и осуждение и, вместе с тем, эмоциональная близость и сочувствие, граничившие в свое время с прямым соучастием, — таков сложный комплекс, породивший все разнообразие оценок и отношений зрелого Пушкина к декабризму и декабристам, создавший длинный ряд самых разноречивых произведений, в той или иной мере связанных с реминисценциями о 14 декабря, — ряд, в котором трагический „Медный Всадник“ соседит с безобидно веселой карикатурой на „сумасшедшего Кюхлю“, лирически задушевные „Послание в Сибирь“ и „Арион“ с ироническими, порой почти издевательскими отрывками из десятой главы „Онегина“.

Весь этот противоречивый комплекс мыслей и настроений живет и действует в поэте и в 1828 году, когда им была написана „Полтава“.

К этому времени относится уже упоминавшийся нами стихотворный ответ Пушкина Катенину, — ответ, в котором он решительно отклоняет призыв Катенина

вернуться к „бейронскому пению“ — к „вольным стихам“ юности, мотивируя это своим стремлением к „покою“, нежеланием „пожинать лавр“ „нищего Корнелия и сумасшедшего Тасса“, как правильно комментирует соответствующие строки Ю. Тынянов. (Арханглы и новаторы, стр. 175.)

Еще непосредственнее сознание неизбежности компромисса, целиком принимаемого поэтом, выражено им в тогда же написанном ответе В. С. Филимонову по поводу поэмы последнего „Дурацкий колпак“:

Вам музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час
И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на вас.
Хотелось в том же мне уборе
Пред вами нынче щегольнуть
И в откровенном разговоре,
Как вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпак изношен,
Хоть и любил его поэт;
Он по воле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.

Особенно любопытно, кстати сказать, сопоставление строки: „но старый мой колпак изношен“ со словами об Евгении из „Медного Всадника“, который после своего неудачного бунта, проходя по Сенатской площади, „колпак изношенный сымал“. В свете такого сопоставления наглядно лишний раз вскрывается истинный потаенный смысл „Медного Всадника“, как и интимно-личная окраска этого жеста „бедного Евгения“ перед памятником Петра.

В том же 1828 году снова, опять-таки в шутильной форме, возвращается поэт и к мысли об угрожавшей ему виселице. Он вписывает в альбом А. П. Керн:

Когда помирует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен.

Замечательно, что последняя строка, как известно, прямо заимствована из одновременно написанной „Полтавы“.

Шутильная форма четверостишия прикрывает собой весьма серьезные опасения и раздумья поэта этого времени. Летом 1828 года возникает дело о „Гаврилади“¹. Раскрытие авторства Пушкина в отношении „Гаврилады“ угрожало поэту весьма тяжелыми последствиями. Он почти уже собирался ехать „прямо, прямо, на восток“. Пушкина несколько раз вызывали на допросы. Закончилось это тем, что поэт написал письмо лично к царю, переданное им через следственную комиссию в запечатанном конверте. Содержание этого письма неизвестно. Однако некоторые исследователи, с нашей точки зрения, не без основания, полагают, что в письме Пушкин откровенно признался в своем авторстве. Если это так, то, конечно, признаваясь, Пушкин должен был отнести „Гавриладу“, как это было сделано им ранее в отношении своих „вольных стихов“, к ошибкам и заблуждениям юности, указать, что в своем новом творчестве он идет по совершенно другому пути. Наглядной иллюстрацией этого нового пути и должна была явиться

„Полтава“. „Полтава“ начата в период расследования дела о „Гаврилиаде“. Н. О. Лернер относит письмо Пушкина к Николаю ко времени после 28 августа 1828 г.; первая песнь „Полтавы“ датируется 3 октября; 7 октября происходит одно из заседаний комиссии для расследования дела о „Гаврилиаде“; 9 октября — дата второй песни „Полтавы“, 16 — третьей и последней. (См. „Труды и дни Пушкина“. Изд. 2-е стр. 177—178.)

„Полтаву“ Пушкин бросил на чашу весов, чтобы уравновесить другую чашу, на которой лежала, угрожающе оттягивая ее вниз, к самой земле, „Гаврилиада“.

И Пушкин успел в этом. Поэма о самодержавном пращуре, торжествующем над бунтовщиком Мазепой, не могла не прийтись по вкусу Николаю. Действительно, мы знаем, что он ставил „Полтаву“ особенно высоко. Недовольный слишком „личной и неприличной“ критикой Булгариным пушкинского „Онегина“, Николай в соответствующей записке к Бенкендорфу характерно добавлял: „Хотя я совсем не извиняю автора, который сделал бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы (царь имеет в виду „Онегина“), но гораздо менее благородному, нежели его „Полтава“.

В „Полтаве“ в своем осуждении линии бунта против самодержавия, следовательно, и линии декабризма, Пушкин заходит так далеко, как ни в одном из своих произведений. Мазепа в бунте против Петра

не только не рассчитал сил, отваживаясь на борьбу с „самодержавным великаном“ („Нет, вижу, я, нет, Орлик мой, поторопились мы не кстати: расчет и дерзкий и плохой, и в нем не будет благодати...“ и т. д.),— Пушкин раскрывает в бунте „героя свободы“, Мазепы, глубоко личные цели, личную корысть. Мазепа в поэме Пушкина терпит не только физическое, но и полное моральное поражение.

В самом процессе писания Пушкиным „Полтавы“ была какая-то лихорадочность, напряженность, пришпоренность. „Полтаву написал я в несколько дней, далее не мог бы ею заниматься и бросил бы всё“,— сознается он сам.

В одновременно написанном „Опричнике“ раскрывается, с нашей точки зрения, причина этой лихорадочной торопливости, вскрывается самим поэтом скорее всего несознаваемое, творческое тайное тайных его „Полтавы“. Поэт, растоптавший в лице Мазепы одного из „лихих изменников царя“, силой нудит свое оторопелое вдохновение вихрем мчаться вперед, между перекладинами виселичных столбов, задевая за трупы повешенных.

VI

Литературно новая идеологическая позиция Пушкина сказалась не только в новой трактовке „изменника русского царя“, подчеркнуто, с прямым вызовом противопоставляющей себя трактовке того же образа поэтом-декабристом Рылеевым, сказывается

она и в совсем особом, действительно „оригинальном“ жанре „Полтавы“.

В молодости, в период своих „вольнлюбивых мечтаний“, „вольных стихов“, „сумасшедшего“ увлечения творчеством Байрона, Пушкин в отмену завещанного XVIII веком, созданного в эпоху под’ема экономической мощи и классовой силы дворянства жанра, „высокой“ героической поэмы-эпопеи, создает новый жанр „лирической поэмы“.

„Лирическая поэма“ Пушкина, в центре которой стоял мятежный герой-одиночка, отпавший от своего класса, уходящий от него в другую социальную среду, была ярким выражением настроений и чувствований того социального слоя родовитого деклассированного дворянства, представители которого вышли в 1825 году на Сенатскую площадь, к которому в значительной степени принадлежал и юноша Пушкин.

В „Полтаве“ характерно сказывается явное стремление поэта вернуться к прежнему, некогда отвергнутому и осмеянному им жанру.

В рассказ о любовной интриге Мазепы и Марии выдвигается описание важного исторического события — Полтавской битвы. Байронический герой — Мазепа, обрисованный, как мы видели, самыми непривлекательными, самыми антипатичными чертами, постепенно вытесняется другим образом. Взамен отпавшего от своего коллектива героя-одиночки на первый план выходит фигура другого героя, предводителя коллектива, выразителя его воли и стремлений — эпическая фигура Петра.

Меняется, архаизируется и самый язык „Полтавы“. Наряду с „низкими“, „простонародными“ выражениями, словарь „Полтавы“ изобилует высокими речениями, усеченными формами и т. д. Этот частичный отказ Пушкина от своей же собственной языковой реформы не без иронии отмечался современными ему критиками.

„Его щедротою безмерной“... что-то будто славянское!“ — писал один из них: — „и договор, и письма тайны“... верно усечения опять входят в моду!“ (Отзыв Надеждина в „Вестнике Европы“.)¹

Вернуться к чистым формам героической поэмы XVIII века Пушкин, поскольку его „Полтава“ не была стилизацией, конечно, не мог.

Современная ему критика с неодобрением отмечала отсутствие единого плана, двойственность композиции, „раздвоение действия“ „Полтавы“, заключавшей в себе две или даже „несколько поэм“.

С точки зрения канонов и прежней, „героической поэмы“ и поэмы новой, „байронической“, „Полтава“, действительно, не выдерживает никакой критики.

Однако в этой „неканоничности“ и заключается все художественное своеобразие произведения Пушкина.

¹ Исследователи отмечали сходство отдельных мест в третьей песне „Полтавы“ (описание боя) со строками од Ломоносова, Петрова. Мы, со своей стороны, можем прибавить к этому явную реминисценцию из Державина. У Пушкина: „Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки“; у Державина: „И тихим манием руки... сзывает вкруг себя полки“ („На переход альпийских гор“).

В „Полтаве“ мы являемся свидетелями своеобразного борения двух жанров — жанра эпической и лирической поэмы, борения, сказывающегося и в двойственности композиции, и в сопоставлении разных героев, и в колебании Пушкина в вопросе о названии поэмы: сперва поэт, как мы уже упоминали, хотел назвать ее „Мазепой“, в конце концов назвал „Полтавой“.

В беззаконном, соединяющем в себе два прямо противоположных жанра произведении Пушкина с исключительной наглядностью отображается живой процесс творческой эволюции поэта, с замечательной яркостью выступают все „откуда“ и „куда“ и его жизни и его творчества.

VIII

Новая психоидеология Пушкина, новая его позиция по отношению к правительству обуславливали глубокое социальное одиночество поэта в современности. Пушкин нигде не был своим. Правительство и близкие к нему социально-общественные круги не могли ему забыть его связей с декабристами, „возмутительных“ стихов его молодости, друзья декабристов — „либералы“, наоборот, не прощают ему „примирения“ с правительством¹.

¹ Это место статьи на уже упоминавшемся заседании Пушкинской комиссии подало повод к странному недоразумению. Некоторые оппоненты (С. В. Шувалов, Н. К. Пиксанов) возражали, что слова „социальное одиночество“ — подслеп, что Пушкин не мог быть один, что само дворян-

В известном стихотворении, характерно озаглавленном „Друзьям“ и написанном незадолго до „Полтавы“, в начале 1828 года — „Нет я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю...“ — Пушкин вынужден прямо оправдываться в этом своем примирении. Стихи написаны далеко не в тонах официальных словословий режима. В них отчетливо звучит та же тема „милости к падшим“ — замаскированный призыв к царю простить ссыльных декабристов, который был прямо высказан и в ранее написанных „Стансах“:

ство ко времени Пушкина не представляло собой чего-то „монолитного“, что поэт все время находился внутри известной классовой группировки. Что дворянство пушкинской эпохи не было „монолитным“ — на это я сам настойчиво (и теми же самыми словами) указываю в своей книге „Социология творчества Пушкина“ (см. стр. 65, 72 и др.). Одиночество, о котором идет речь в данном случае, носит, конечно, относительный характер. Пушкин в своем отрыве и от придворного великосветского круга и от поколения декабристов, конечно, был представителем некоторого слоя дворянства. Это не мешало всем представителям этого слоя, выпавшим из своего более обширного классового коллектива, быть и чувствовать себя „уединенными в свете“, одинокими в окружающей их социальной действительности. Самим Пушкиным это социальное одиночество превосходно показано в образе его Онегина, который на великосветском рауте “отдаленны, как нечто лишнее стоит. Ни с кем...не в сношении, почти ни с кем не говорит. Один, затерян и забыт... для всех кажется чужим...” и т. д. Непосредственное переживание социального одиночества резко выражено и в ряде его лирических стихов конца двадцатых и тридцатых годов („Поэту“, „Полководец“ и др.).

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный!
Он скажет: просвещенья плод
Разврат и некий дух мятежный...

И мы прекрасно знаем, что так во времена Александра I и Николая I и говорили. Поэт высказывает здесь, правда, до известной степени робко, в отрицательной форме целую программу, явно противоположную программе официальной николаевской России, программу, которую в положительной форме, полным голосом ему никак бы не дали произнести. И замечательно, что отозвавшийся с похвалой об этих стихах Николай все же печатать их не позволил.

Однако те, к кому были адресованы стихи, те, кого поэт называет в них „друзьями и братьями“, встретили их решительным осуждением. „Стихи Пушкина „К друзьям“ — просто дрянь“, — писал один из „друзей“, поэт Языков, недавний близкий приятель Пушкина, своему брату.

Соответственно одинок был Пушкин в это время и в своей литературной работе. Поклонники байронических „Южных поэм“ Пушкина осуждали в „Полтаве“ стремление поэта „создать эпическую поэму“, „невозможную в наше время“ (Белинский). „Посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни, и в отношении к глав-

ному, интересу поэмы всю третью песнь можно назвать лишнею“, — писал И. Киреевский.

Даже Фаддей Булгарин ставил „Полтаву“ на третье место „по достоинству сочинений Пушкина“, т. е. после „Цыган“ и „Бахчисарайского фонтана“.

Наоборот, сторонники старых, „классических форм“ в искусстве считали, что Пушкин, осложнив повествование об „одном из самых и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого“ романтической новеллой о любви Мазепы и Марии, „унизил“ самую идею героической поэмы.

Так, по словам критика „Галатеи“, название поэмы „Полтавой“ „неверно“ (то же, кстати, находил и Белинский). „Полтава в пушкинском произведении составляет только эпизод — не более“, на сумасшествии Марии, „казалось, и должна была кончиться повесть, не имея притязания на название поэмы“.

Надеждин шел еще дальше, прямо утверждая, что в „Полтаве“ Пушкин, этот „гений на карикатуре“, дал „просто-напросто пародию“.

„Полтавой“ Пушкин вступил на ту „свободную дорогу“ одинокого, непризнанного современниками творчества, по которой, как сам он думал, его влек его „свободный ум“, по которой на самом деле двигала его железная логика его социального бытия.

Д. Благой

МОСКОВСКИЙ
ПУШКИНИСТ

II

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ
Под редакцией
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА — 1930

lib.pushkinskijdom.ru